

# ПЕРЕПИСКА МЕРАБА МАМАРДАШВИЛИ С ЛУИ АЛЬТЮССЕРОМ<sup>1</sup>

Анни Эпельбоэн

Переписка между двумя философами охватывает весь период их дружбы; она началась вскоре после их первой встречи в Париже в 1966 г.<sup>2</sup>, а завершилась, очевидно, в 1980 г., когда Альтюссер после убийства жены был помещен в психиатрическую больницу. Вначале корреспонденция доставлялась официально, почтой, по месту работы: Альтюссеру — в Высшую нормальную школу в Париже<sup>3</sup>, М. М. — в Институт рабочего движения в Москве. Впоследствии, когда поездки в СССР стали более частыми, письма передавались через частных лиц, что обеспечивало относительную свободу высказываний. С 1971 по 1977 г. я была чем-то вроде их *go-between*<sup>4</sup>: в эти годы я часто навещала в Москве друзей, в том числе — М. М. Меня познакомили с ним мои итальянские друзья в 1971 г., во время стажировки, которую я, тогда юная студентка-славистка, проходила в МГУ. М. М., в свою очередь, попросил меня встретиться после возвращения в Париж с Л. А. и передать ему письмо.

Сохранившаяся часть корреспонденции находится в архивном Фонде Альтюссера, переданном наследником философа Институту изучения современного издательского дела (ИМЕС) в 1991 г.; она включает в себя письма М. М. к Л. А. (на французском языке), к которым в тот же период были добавлены письма от Л. А., полученные М. М. и отданные его дочерью в ИМЕС. Эта переписка не издавалась, за исключением одного письма Л. А. к М. М., опубликованного ИМЕС в 1993 г. в журнале «*Futur antérieur*»<sup>5</sup>. Данный

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано в книге: *Мамардашвили М.К.* Философия России второй половины XX века. М.: Росспэн, 2009. С. 349–367. — *Примеч. ред.*

<sup>2</sup> Точная дата первой встречи неизвестна — возможно, она произошла раньше, т. е. между 1962 и 1966 г.

<sup>3</sup> *Ecole Normale Supérieure*, ENS.

<sup>4</sup> Посредника (*англ.*). — *Примеч. пер.*

<sup>5</sup> Письмо от 16 января 1978 года было опубликовано во Франции в 1994 году издательством *Éditions Stock/ИМЕС* в книге «*Althusser Écrits philosophiques et politiques*» (Т. 1) под

фонд очень неполон, большая часть писем до сих пор не обнаружена. В него вошли девять писем за 1968–1974 гг. и пять писем за 1977–1980 гг. Недостает, в частности, тех, которые я сама передавала в этот семилетний период и откуда мне иногда зачитывались выдержки. Этот корпус составляет примерно двадцать пять страниц, исписанных мелким почерком, иногда напечатанных на машинке (Л. А.). Восемь писем написаны Л. А., шесть, как правило, более кратких, — М. М. В них ясно выразилась история дружбы, вначале двух философов, затем — двух мужчин, стремившихся разделить радости и горести друг друга. Это и рассказ о непонимании, который касается, на мой взгляд, не только их двоих, но вообще истории XX в.: происходит интенсивный диалог между людьми, связанными, несмотря на расстояние, дружбой и взаимным восхищением, но он отнюдь не приводит к глубокому обмену мыслями.

Такой печальный итог обусловлен прежде всего тем, что французский философ был глух к информации, приходившей к нему из Москвы, пусть и в завуалированном виде. Тому причиной и лаконичность стиля М. М., о чем речь пойдет позже. Приверженность Л. А. французской компартии сама по себе не дает удовлетворительного объяснения. Те, кто был к нему близок, даже не разделяя его политических взглядов, единодушно отмечают, что, навещая его, чувствовали разрыв между догматической сухостью его политических сочинений и исключительной человеческой теплотой, внимательной и «трезвой» реакцией на то, что ему рассказывали о жизни и мире. Этот разрыв отчасти — но не всецело — связан с психической болезнью Альтюссера, с доминировавшим у него расщеплением между сильнейшим интеллектом и способностью высказывать совершенно бессмысленные суждения. И все же обмен письмами, несмотря на его неполноту, демонстрирует множество нюансов в подходах двух мыслителей к философии, жизни и истории.

---

названием «*Lettre à Merab du 16 janvier 1978*». В июне 2006 года оно было опубликовано на английском языке издательством «Verso Books» в сборнике работ Луи Альтюссера: Althusser, Louis. *Philosophy of the Encounter: Later Writings, 1978–1987*. На русском языке впервые опубликовано в 2009 г. в книге: Мамардашвили М. Опыт физической метафизики. М.: «Прогресс-Традиция». — *Примеч. ред.*

## М. М. и Франция

Инициатива этого диалога принадлежит М. М. и связана с его хорошим знанием французской культуры, которую он полюбил еще в юности в Тбилиси. Он неоднократно вспоминал об этом «выборе» французского мышления и языка<sup>6</sup>. Время, проведенное в Праге начиная с 1961 г., сыграло здесь еще более важную роль, чем юношеский круг чтения. В том космополитическом и парадоксальном месте, каким была редакция журнала «Проблемы мира и социализма», соприкасались «коммунисты» разных взглядов — циники и простаки, твердокаменные и лишенные иллюзий. Среди «прозревших» был французский журналист Пьер Бельфруа — близкий друг М. М. в эти годы и вплоть до его смерти: М. М. навестил его, когда был во Франции в 1989 г., хотя с Л. А., уже вышедшим из психиатрической больницы, встретиться не пожелал. По словам П. Бельфруа, М. М. в этот пражский период много раз бывал во Франции: вначале, в 1962–1963 гг., он использовал официальные поручения, потом счел это излишним. Это привело позже, когда он вернулся в Москву, к серьезному окрику со стороны властей: он стал невыездным. В 1970-е гг. Л. А. постоянно присылал ему официальные приглашения из ENS, но безрезультатно.

Когда М. М. приехал в Прагу, его знание французского языка было чисто книжным. Очень быстро он освоил разговорный язык (в том числе арго) во всей его пластичности при помощи своего французского друга, таскавшего его по кафе и в изобилии снабжавшего самыми разными книгами — от Пруста до детективных романов, которые М. М. усиленно поглощал. П. Бельфруа открыл ему Селина и эротическую литературу, привил вкус к джазу и французскому шансону. Приезжая в Париж, М. М. останавливался у него или у его друзей.

Вот так случилось, что в 1966 г. М. М. появился на улице Ульм у Альтюссера. Тот сразу отнесся к нему по-дружески и пригласил разделить с ним обед, который как раз собирался готовить. М. М. с большим интересом прочел его книгу «За Маркса» и хотел поговорить о ней с ее автором. Л. А. оказался доброжелательным человеком и искусным кулинаром; оба философа были настроены на взаимопонимание. Они объявили себя «братьями» и независимо от

<sup>6</sup> См., в частности, его высказывания по этому поводу в «*La pensée empêchée*», Aube, 1991.

всяких теоретических соображений четырнадцать лет проявляли сердечное и неустанное внимание друг к другу. Они обменивались подарками, красивыми вещами, трубками, любителями которых были оба; Л. А. передавал своему грузинскому другу, такому же щеголю, как и он сам, но лишенному свободы действий в этом отношении, изысканную одежду.

В тот период М. М. тоже работал над Марксом. Эту тему философы обсуждали во время встречи, ей главным образом посвящены их первые письма друг другу. За перепиской тогда велся контроль, М. М. знал об этом, но, невзирая ни на что, продолжал писать. У Л. А. и так все время — чувство, что за ним следят, и эти фантазии то вселяли в него тревогу, то приводили в возбуждение. Среди недостающих писем — те, которые не подвергались цензуре, поскольку передавались в собственные руки. Помню, одно такое послание просто жгло мне пальцы — я привезла его из Парижа в Москву летом 1973 г. Л. А. только что написал «Ответ Дж. Льюису», работу, отличавшуюся такой убогой ортодоксальностью и узостью взглядов, что мне было как-то неловко передавать ее М. М., запертому в Москве. Реакция М. М. была поучительной. Я думала, что он вообще не станет читать книгу, ограничившись сопроводительным письмом. Но все получилось не так. Он жадно прочел первые страницы и воскликнул: «Какой прекрасный язык! Как я восхищаюсь им и завидую! Вот чего я не могу себе позволить: иметь стиль! Чтобы сбить со следа цензоров, помешать им докопаться до смысла, я вынужден выражаться очень сгущенно, непонятно. Я обречен нагонять на них скуку, а не нравиться...» Потом он отложил книгу в сторону.

Тем летом, с июня по сентябрь 1973 г., и следующей зимой, когда я навещала Л. А. в психиатрической клинике, куда он был помещен на долгие месяцы, ему, казалось, по-настоящему открылась советская действительность. Он постоянно расспрашивал меня о М. М. и моих московских друзьях, интеллектуалах, которых советская власть в той или иной мере превратила в маргиналов или подвергала преследованиям; о писателях, отправленных в ГУЛАГ или вернувшихся оттуда. В ответ я рисовала довольно подробную картину советской реальности, рассказывая ему о прошлой и теперешней жизни моих друзей и их родных, передавая их рассказы. Я говорила и о формах свободы и радости жизни, и о препятствиях и драмах. Он жаждал знать об этом все больше и больше и день за днем спрашивал: «Что я могу для них сделать? Для того-то и того-

то? Чтобы им помочь?» Я отвечала: «Понимать и говорить. И подвергать эту действительность теоретическому осмыслению». Я воображала — то была чистая иллюзия, — что эти дни, наполненные глубоко взволновавшими его рассказами, найдут отклик в одной из его будущих работ, в каком-то публичном заявлении или хотя бы в более глубокой рефлексии. Но они только обострили наступившую вскоре фазу депрессии: его пребывание в клинике зимой 1973–1974 гг. было особенно долгим. Весной, когда я в последний раз навещала Л. А. в доме отдыха, он сообщил мне большую новость: он решил будущим летом впервые поехать в Москву на Гегелевский конгресс со своей женой Элен: «Она так давно мечтает об этом!» Она славилась своим сталинистским догматизмом, ретроградным и непреклонным. Л. А. предложил мне сопровождать их в качестве гида. Я отказалась. Было очевидно, что он ничего не смог понять из того, что я часами рассказывала ему о советской действительности. Так же, как не понял и того, что М. М. рассказал и показал ему следующим летом в Москве. Его изданные посмертно работы вполне ясно демонстрируют это. Письма М. М. он фактически не сумел прочесть иначе чем сердцем. Так потерпела крах прекрасная дружба двух философов, которые могли столько сказать друг другу, но постепенно оставили эти намерения. Трагические обстоятельства, связанные с психической болезнью у одного, с политической ситуацией у другого, вынудили их — хотя и по-разному — к молчанию.

## Письма

Первое письмо из этого корпуса, датированное 1968 г., наиболее нагружено смыслом. Это ответ М. М., получившего по почте посылку от Л. А. Тон письма оживленный и сердечный: «Я думаю о тебе и рассказываю про тебя. Из-за этого меня уже в шутку прозвали «грузинским Альтюссером», но им лишь бы смеяться, есть на то повод или нет. Посылаю тебе кое-что из обещанного, в том числе текст моего доклада на Гегелевском конгрессе в 1966 г., его немецкий перевод я исправил».

Затем письмо становится более серьезным по тону, М. М. обращается теперь к другу-философу, как равный к равному. Он начинает с ободряющей констатации их сходства: оба они — свободные читатели Маркса, удержанные от окружающего догматизма своей «наивностью»: «Так как ты читаешь по-немецки, ты найдешь

здесь поразительные, даже буквальные, совпадения с некоторыми из твоих формулировок (например, об идеологии, об общем и индивидуальном у Гегеля и т. д.) — я познакомился с ними позже. Это удивительное родство духа, или, скорее, абстрактных, стилистических приемов ума, ведущее в конкретных приложениях к странной дубликации «копий»<sup>7</sup>, меня волнует и радует. Возможно, дело в том, что оба мы прошли школу «Капитала» (прочитанного наивно). А теперь применяем его... Вперед!»

Формула «Вперед!» («*En avant!*»), оставшаяся у М. М. после чтения «Трех мушкетеров», очень существенна. Он использовал ее с юмором и мудростью, подчеркивая содержащийся в ней жизненный порыв, направляющий великие предприятия — как повседневной жизни, так и ума.

Далее он сообщает Л. А. о своих недавних работах, с которыми хочет его познакомить: о «*Verwandelte Formen*» (1966)<sup>8</sup> и только что завершенной статье «Некоторые схемы анализа сознания в “Капитале” Маркса»<sup>9</sup>. Затем обращается к нему как внимательный коллега, желающий, чтобы работы его собеседника увидели свет в специфических условиях Советской России: «Твои тексты показались мне очень хорошими. Твою статью о Грамши можно было бы включить в сборник о (или, скорее, “по поводу”) Грамши, который публикуется у нас и содержит материалы коллоквиума, проведенного в нашем институте в апреле 1967 г. В этом смысле твоя работа как раз кстати. Я отдам ее у нас на перевод и уже обсудил этот вопрос с директором. А вот с интервью в “*Unita*” все обстоит не так хорошо. У нас не принято действовать так персонифицированно. По мнению людей, с которыми я об этом говорил, это не “звучит”. Жаль».

Он вовлечен в это лично, как философ и критик. Примечательно, что следующий далее пассаж подчеркнут чернилами, но нельзя понять, сделал ли это М. М., настаивая, или Л. А., отметивший двойной чертой на полях значение, которое он придавал соображениям М. М. и завершающим письмо дружеским словам: «По поводу твоей лекции у меня есть одно замечание (...). Ты должен был бы более осторожно говорить об историческом отношении (воз-

<sup>7</sup> В оригинале — «*rédoublement des “replica”*». — *Примеч. ред.*

<sup>8</sup> «Превращенных формах» (нем.). — *Примеч. ред.*

<sup>9</sup> Вероятно, речь идет о статье, опубликованной в № 6 «Вопросов философии» за 1968 г. под названием «Анализ сознания в работах Маркса». — *Примеч. ред.*

никновение, революция и т. п.) между философией и наукой. Это, возможно, только мои личные идеи, но мне кажется, что нельзя так легко выводить рождение греческой философии из факта геометрии (вообще математики), поскольку тогда придется объяснить возникновение математики. А оно проходит через факт философии (а не через технику, практику и т. п.). Короче, существует синкретическая вещь, которую требуется объяснить, форма интеллектуальной деятельности (рождение этой формы в ритуальном и фетишистском обществе), имеющая одновременно философский и научный характер, рождение научной мысли есть в то же время и рождение философствующей мысли. Без этого нет науки. Наука, которая не была бы в то же время философией, возможна лишь тогда, когда философские (онтологические, методологические, персональные и т. п.) условия социально и культурно определились (стали объективными и перешли в культурное и социальное бессознательное) и не требуют переоткрытия, реактивации (или создания новых) со стороны индивида».

В заключение М. М. возвращается к живому и грубоватому тону, каким он изъяснялся вначале, переходит на итальянский, в котором оба они любили практиковаться: *«Ma io me ne frego di quello che ho detto e ti assicuro che la filosofia e perennis solo in senso di un casino perennis, di qualcosa molto schifoso, ma che non finisce mai. Allora io lascio questo cosa a non finire e ti abbraccio»*<sup>10</sup>.

Это письмо самое длинное и самое «философское» из всех. Это образец того, чем мог бы стать обмен мнениями между двумя философами. К сожалению, он не принял той живой и глубокой формы, какая, казалось бы, была заявлена вначале.

Ответное письмо Л. А., датированное июлем 1968 г., — письмо больного человека, который вышел из психиатрической лечебницы (он пробыл там с мая по июль) и, даже пройдя курс лечения, заявляет, что не в силах выносить свою болезнь. Он лишь очень кратко упоминает о философских размышлениях друга: «Я получил твое письмо (твои очень верные замечания о начале философии), а также отрывки из твоих работ — увы, я не знаю русского!» Он явно не помнит уже о переводах на немецкий. Затем он упоми-

<sup>10</sup> «Но я не держусь за свои слова [букв.: «мне плевать на то, что я сказал»] и уверяю тебя, что философия вечна только в смысле вечного бардака, чего-то очень гадкого, но что никогда не кончается. В таком случае я оставляю это дело незаконченным и обнимаю тебя» (ит.). — Примеч. пер.

нает о ситуации мая 1968 г.: «Потом я погрузился в болезнь, тогда как Франция позволила себе “квазиреволюцию”, которую никто не предвидел и не возглавил».

Он ничего не видел и не пережил, но сожалеет, по всей вероятности, об отсутствии какого-нибудь Ленина, который обеспечил бы порядок и соответствие событий революционной программе... Эти несколько слов хорошо показывают его смятение перед лицом сюрпризов, которые порой предлагает действительность.

Очень скоро он снова едет в больницу, откуда пишет М. М. следующее письмо, датированное 20 августа 1968 г. Здесь он в нескольких бредовых выражениях разоблачает ошибку психиатров-троцкистов, объединившихся вокруг журнала «*Recherche*». В этих условиях «разве можно выздороветь»? Но прежде всего он вспоминает свои распри с Митиным, который со множеством извинений послал ему «*remake*»<sup>11</sup> его статьи. Л. А., по его словам, «потрясен приемом переписывания без разрешения автора» (открытие!), он шокирован тем, что «последнюю часть, о философии, просто-напросто выбросили, а ведь именно она политически уравновешивала все целое, смещая его от чисто университетской, научной статьи к другому центру — философско-политическому... Пойми, это, конечно, тело, но обезглавленное, лишенное своей философской головы!..» Он просит у М. М. совета: «Имеет ли все же статья в этом, обезглавленном и «*remade*»<sup>12</sup>, виде, какую-то философскую, т. е. политическую, пользу?»

М. М., сведущий в вопросе «обезглавливания» и явно потрясенный августовскими событиями<sup>13</sup>, отвечает ему в ноябре. Тон письма поражает своей свободой, которую он во вступлении объясняет тем, что письмо передается «через посредников»: «Твое письмо сильно взволновало меня, оно не дает мне покоя. Но все теперь завязалось в единый узел, оно не дает мне покоя, как и масса других вещей после 21 августа, все это надо снова и снова обдумывать вместе. Мой совет тебе: разреши печатать твою статью здесь в таком виде. У нас, в нашей ситуации («нашей») дважды подчеркнуто. — А. Э.), она гораздо лучше без политического заголовка. Для нас хорошая политика — это деполитизация философии: поскольку нет возможности (цензура, идеологическое давление, то-

<sup>11</sup> Переработку (англ.). — Примеч. пер.

<sup>12</sup> Переработанном (англ.). — Примеч. пер.

<sup>13</sup> Имеется в виду введение советских войск в Чехословакию в августе 1968 г.



талитаризм и т. п.) создавать, представлять, публиковать хорошую политическую критику, действовать политически в духе здравого смысла, мы вообще избегаем политики как таковой. Ведь она может быть только плохой. Итак, долой политику!»

Это заявление имеет ключевое значение. Оно очень четкое, энергичное. В нем лаконично показано различие в статусе, который придается политике во французской и русской культуре. С точки зрения первой философия должна иметь доступ к политическим проблемам. Напротив, М. М. считает, что нужно безусловно освободить ее от этого измерения. Здесь — ядро дискуссии о том, должна ли русская культура принять или отвергнуть эту функцию<sup>14</sup>.

М. М. идет дальше. Со своим обычным тактом, он полунамеком подсказывает на сей раз подлинно политический акт. Акт разрыва с официальными властями в знак протеста против вторжения в Чехословакию: «Итак, опубликуй статью. Сделай это, если ты не изменил своего мнения из-за событий 21 августа. Мне было бы понятно, если бы ты отказался от сотрудничества по этой причине (это не совет, я только говорю, что понял бы твой отказ, а не настаиваю)».

Таким образом, здесь ясно высказано то, что составляет профессиональную этику М. М. и принципиально отличает две системы: политическое действие предоставлено свободному выбору индивидов, но оно является именно политическим лишь при условии, что свободно. Не навязывая какого-либо решения, М. М. в заключение пишет, что прежде всего озабочен здоровьем своего друга.

Эта забота о другом, многократно выраженная в последующих письмах, побуждает его отказаться от всякого совета или намека, связанных с политикой. М. М. был человеком чрезвычайно вежливым и всегда легко отступал, сообразуясь с тем, что его собеседник хотел или мог услышать, за исключением тех редких случаев, когда, поддавшись гневу, он разносил в пух и прах суждение, с которым не мог примириться.

В декабре 1968 г., все еще не имея новостей от своего друга, он вновь выражает беспокойство: «Что с тобой стряслось? Где ты? В мире столько дряни, что боишься за людей, которых любишь. После этого философского афоризма не знаю, что и писать, настолько я растерян и тревожусь за тебя. Ты все еще в клинике? Пишу тебе на адрес Высшей школы, как бы выражая магическим образом жела-

<sup>14</sup> В частности, В. Набоков критикует эту склонность русской культуры брать на себя социальные функции, считая ее вредной.

ние, чтобы ты там находился и получил мое письмо, которое вовсе и не письмо, а любовная записка. Черкни же мне пару слов».

Он в сдержанной манере выражает глубокие чувства: нежность к другу, отвращение к политическому повороту, только что произошедшему в СССР и уничтожившему, по мнению здравомыслящих интеллектуалов, всякую надежду на изменение режима.

Письмо Л. А. отправлено почтой в апреле 1969 г. В нем нет ответа на вопросы, поднятые М. М. в письмах. Л. А. долго рассказывает о «ерунде», какой был, как всегда, гегелевский конгресс, где он опять не обнаружил М. М., но не «решился» спросить присутствовавших о его новостях. Довольно вяло он сообщает о том, что хочет написать, что читает. «Ничего особенно интересного. Все наши светлые философские головы, я имею в виду молодежь, в теоретическом кризисе». Он критикует последнюю книгу Фуко<sup>15</sup>: «Очень плохая теоретическая книга... о его теории. Когда это становится теоретически автобиографичным — плохой знак». Он мало расположен к Деррида, «который без конца повторяется, конечно, гениально с точки зрения анализа и письма, но все же твердить, что ты “левый хайдеггерянец”, — во-первых, это может существовать только в одном экземпляре, а во-вторых, это значит быть канатоходцем». Себя он называет «объектом крайне жестоких нападок со стороны друзей и прежних прокитайски настроенных учеников, готовых после своих майских опытов развить одну из этих неонархистских теорий, только это тебе и скажу». Он воодушевлен лишь книгами своего «друга Делёза, который, к сожалению, не знает Маркса», и рекомендует М. М. «книгу М.-А. Мачьочи о ее избирательной кампании в Неаполе». И он вновь повторяет свое предложение пригласить М. М. во Францию.

Его неведение о том, что происходит в Советской стране, не тотально, поскольку в следующем письме, от апреля 1970 г., он заявляет: «Да, издалека ситуация в СССР меня очень беспокоит. Я боюсь, как бы все это не кончилось катастрофой, и даже спрашиваю себя, не случилась ли она уже (рискуя мало-помалу обнаружить ее в горьком опыте, образ которого можно найти в “Феноменологии духа”). Думаю, что нельзя безнаказанно претендовать на историческое существование, влача за собой такое прошлое (за собой = на себе) (= в себе), прошлое, непроглядное как ночь. (...). Пока

<sup>15</sup> Речь идет, очевидно, о книге: Foucault, Michel. *L'Archéologie du savoir*. Paris: Gallimard, 1969.

не выяснено, что произошло после смерти Ленина, т. е. не освещен весь сталинский период, из него не выйти. И нельзя выпутаться из сталинского периода (и его современных последствий) при помощи “либерально”-буржуазных текстов, или требований, вроде тех, один “образец” которых здесь опубликован (манифест Сахарова и других, ты ведь в курсе?)».

В этих аллюзиях прочитываются недомолвки и политическая закрытость философа: вопрос об СССР для него важен, но он затрагивает его только косвенно. Информацию, приходящую из СССР, он пропускает сквозь свой обычный фильтр и воспринимает ее всю скопом, с характеристиками, принятыми в ФКП («“либерально”-буржуазные требования»). Он беспокоится, но на большом расстоянии, не пытаясь касаться «непроглядной ночи» сталинского прошлого. А именно эту задачу возьмутся выполнить в последующие годы его «прежние прокитайски настроенные ученики», которых с лета 1976 г. станут называть «новыми философиями»<sup>16</sup>. Они с большим или меньшим шумом порывают с марксизмом и отныне отвергают в СССР то, что обожали в Китае<sup>17</sup>.

Письма за следующие четыре года отсутствуют. Это годы регулярных контактов, которые остаются оживленными вопреки невзгодам: положение М. М. в Москве ухудшается, ему становится все труднее продолжать преподавание, Л. А. вновь впадает в сильную депрессию и надолго — с осени 1973 г. до начала лета 1974 г. — попадает в больницу. Именно тогда, как мы видели, он сообщает М. М. о своем намерении впервые приехать по приглашению в Москву на гегелевский конгресс. Это решение требует от него своего рода героического мужества; кажется, что он уходит на фронт. Текст открытки, посланной ему в ответ М. М. (почтовая открытка без конверта, которую могут прочесть все), говорит о мужестве совсем иного рода. Она отправлена из Ялты: «Дорогой Луи, сейчас я на берегу моря, мне это было очень нужно. Но я жду тебя (и как!) в августе в Москве (...). В любом случае приезжай. Здесь (и где

<sup>16</sup> См. досье «*Nouvelles Littéraires*» от 10 июня 1976 г. под редакцией Б. Леви.

<sup>17</sup> Самой интересной работой была тогда книга А. Глюксманна «*La cuisinière et le mangeur d'homme: essai sur les rapports entre l'Etat, le marxisme et les camps de concentration*». Paris; Seuil, 1975. См. также книгу Б.А. Леви «*La Barbarie a visage humain*». Grasset, 1977. Глюксманн также свел счеты со своим прошлым и своим прежним профессором в книге «*Les Ma tres pen-seurs*», Grasset, 1977, которую Фуко представляет в статье, опубликованной в «*Nouvel Observateur*».

бы то ни было) мне плевать на Гегеля. Я брежу у волн. И читаю... Пруст и Аполлинер. Мы все недостаточно любимы. Я имею в виду не только женщин. Есть еще страны и кое-что другое».

Тон свободный, ироничный, поэтический... Цитируя Аполлинера<sup>18</sup>, М. М. мягким юмором, так ему свойственным, затушевывает тяжесть своего положения. Он несчастен в любви к стране: она — или режим — не нуждается в нем. Так он вновь утверждает свое человеческое достоинство, он, всегда отказывавшийся вставать в позу жертвы. Из-за этого он не уедет из страны, хотя вполне мог бы обдумать такую возможность. И даже высылку в Тбилиси, когда его положение в Москве станет невыносимым, он превратит в возвращение на родину, в счастливый поиск и обретение утраченного удовольствия. Образу изгнанника или мученика он предпочитает образ отвергнутого любовника, человека богемы. Тон и формой почтовой открытки он подкрепляет утверждение своей свободы: официальные и псевдофилософские празднества не имеют никакого значения в сравнении с удовольствием читать великие тексты, ни в чем не отвечающие официальным критериям. Особенно на берегу моря. Безмятежный тон и обращение к арго хорошо показывают его глубокое презрение к официальным нормам.

Итак, спустя почти десять лет они вновь встречаются, на этот раз в Москве. М. М. принимает Л. А., знакомит со своими друзьями, тоже философами, предлагает Элен, его жене, побеседовать с социологами... Напрасный труд. Л. А. не хочет ничего слышать, ни во что вникать. Следующим летом, рассказывая мне об этих бесплодных встречах, о диалогах глухих, М. М. смеется: он ничуть не шокирован, говорит, что мог этого ждать. Он отмечает способность к отказу, проявленную тем, кто остается его другом.

Через четыре года М. М., обычно такой сдержанный, шлет Л. А. письмо-исповедь: «Ты не мог бы мне написать? Знаешь, без твоих новостей все как-то меркнет. Как нет сейчас никакого просвета и в моей жизни. Я все больше погружаюсь в работу, в метафизические глубины, к чему меня подталкивает — отдаю себе в этом отчет — глухое отчаяние и неприятие всего вокруг, и я утратил способность выражать свои мысли и храню молчание».

Сила этой исповеди не укрылась от Л. А.; 16 января 1978 г. он ответил М. М. длинным письмом, которое заканчивается слова-

<sup>18</sup> Аллюзия на «Песню нелюбимого» Аполлинера. («*La chanson du mal-aimé*»). — *Примеч. ред.*

ми: «Извини за долгую исповедь, дорогой Мераб. Здесь я храню все это только для себя: с тобой — другое дело». Вначале он возвращается к словам М. М., сказанным ему по поводу высылки: «Я остаюсь, потому что именно здесь видна суть вещей, они предстают в подлинном виде». Этот символ веры, который М. М. охотно повторял, Л. А. комментирует следующим образом: «Долг интеллекта, но оплаченный дорогой ценой. За то, чтобы не оставаться, платят тоже довольно дорого, если судить по тем, кого я видел из уехавших. Довольно дорого: по-иному. И мало кто из них может дать отпор общему стремлению выставить их напоказ, как «детей волков», умеющих рассказывать о лесах».

Иронический тон маскирует здесь предвзятость политического мнения: ведь ФКП открыто приняла политику Брежнева и поносила диссидентов, тогда как французские интеллектуалы почти единодушно поддерживали диссидентов, приехавших из Восточной Европы. Так, в июне 1977 г., за несколько месяцев до этого письма, Барт, Глюксманн, Фуко, Мориак, Сартр и другие организовали с диссидентами вечер в театре Рекамье, получивший сильный общественный резонанс. А. Синявский, А. Буковский, А. Амальрик, Н. Горбаневская, А. Галич, пришедший со своей гитарой, выступали, рассказывали о лагерях. Состоялись многочисленные пресс-конференции, на первых полосах газет публиковались статьи о них и интервью. Причиной такого успеха был не просто эффект моды, но и осознание последствий того, что начали называть «тоталитаризмом».

Продолжение письма выглядит как признание собственной ничтожности: «Именно так, на расстоянии, можно почувствовать (...) свою ограниченность, нелепость своей жизни. Для меня ясно как день, что пятнадцать лет назад я сфабриковал очень французское оправдание — в духе славного рационализма, вскормленного несколькими цитатами (Кавайес, Башляр, Кангийем на фоне чего-то из Спинозистско-Гегелевской традиции), — претензии марксизма (исторического материализма) выдать себя за науку. В конечном счете именно это является (было, так как с тех пор я немного изменился), в доброй традиции всякого философского предприятия, чем-то вроде гарантии и поручительства. (...) Наполовину я в это верил, как всякий “здравомыслящий человек”. (...) Конечно, эти леса помогли людям взобраться на крышу дома — и поди разберись, что они сделали с крышей и домом! И с панорамой, открывшейся им с высоты! (...) Кроме того, я удостоверился, что произведения следуют друг за другом в соответствии с логикой (...), не допускаю-

шей столь же легкого исправления. Исправляй, исправляй, все равно что-то да останется... Тюрьма персоны остается, даже если “персона” (...) решает возвестить, что он изменился». Л. А. упоминает о различных темах, которые хотел бы рассмотреть, — эпикурейцы, Макиавелли, Грамши и др.: «Этого мало во времена, когда следовало бы вооружиться конкретными знаниями, чтобы говорить о таких вещах, как государство, экономический кризис, организации, “социалистические” страны и т. п. У меня этих знаний нет, и надо бы, как Маркс в 1852 г., “опять начать все сначала”, но слишком уж поздно, из-за возраста, усталости, скуки, ну и одиночества».

Иными словами, радость дружбы длится наперекор всему и, как ни парадоксально, позволяет излить душу тому, кто, казалось бы, меньше всего способен это понять. Французский философ признается в неспособности выйти из «тюрьмы персонажа» своему далекому другу, который расплачивается за свободу мышления вполне реальной тюрьмой. Но расстояние, одновременно идеологическое и географическое, делает возможной своего рода близость, тем более надежную, что ее нельзя проверить в повседневной практике. К этому письму Л. А. приложена записка, где он сообщает, что передал М. М. книгу Линара, которую характеризует как «выдающуюся книжку»<sup>19</sup>.

Через год, летом 1979 г., М. М. находится в Тбилиси, где идет подготовка к конгрессу по проблеме бессознательного, который должен состояться осенью<sup>20</sup>. Он надеется встретить Л. А., который в тот момент предполагал участвовать в конгрессе, посылает ему записку и, «на всякий случай», свой адрес и номер телефона. В ожидании М. М. сообщает ему, что проведет отпуск у моря и вернется в Тбилиси накануне конгресса, который начнется 29 сентября.

Л. А. не приехал. Он объясняет это в письме, датированном январем 1980 г.: «Я не смог приехать на конгресс из-за плохого самочувствия»<sup>21</sup>. Он упоминает о приступах депрессии, пережитых невзгодах, вновь говорит, что может выздороветь. С меткой иронией он передает, что рассказали о тбилисском конгрессе его фран-

<sup>19</sup> Linhart, Robert. *L'établi*. Paris: Editions de Minuit, 1978.

<sup>20</sup> Этот конгресс вызвал волнение среди французских психоаналитиков: кто-то отказывался ехать в СССР, другие рассматривали это как форму борьбы с репрессиями в советских психиатрических больницах. Многочисленную французскую делегацию возглавлял Л. Шертюк.

<sup>21</sup> Причины этого отказа не совсем ясны. Как бы то ни было, он послал туда текст своего выступления, потом еще один.

цузские участники: «Я, конечно, слышал разговоры о конгрессе и секции “философия”... Самое странное то, что его участники, беседовавшие со мной, ни словом не обмолвились о красоте места, где он проходил, о стране, да что там, о людях!!! Вот я, случись мне там побывать, только бы и делал, что гулял! Они же — так и кажется, что они провели десять дней взаперти в аудитории, не важно где. Надо же! С ретроспективной и всегда актуальной навязчивой идеей, что совершили — невзирая ни на что — подлинно историческую миссию! Из-за этой идеи я полностью погрузился в фантазии, не знаю точно о чем, об этих людях, которые ведь мне хорошо известны, о том, что они, как им кажется, сделали, о том, что они действительно сделали. (...) Представляю — иначе ты бы не был тем человеком, которого я знаю, — ты бы смеялся за двоих (я хочу сказать, и за себя и за меня), несмотря на серьезность вопроса (у которого, бесспорно, были серьезные стороны, связанные, хотя и отдаленно, с последствиями)».

Проницательность в отношении других граничит здесь с насмешкой над собой: Л. А. говорит о странностях своей среды с иронией, которую мог бы прежде всего адресовать самому себе. Он подчеркивает самодовольство поучающих, он отнюдь не введен в заблуждение интеллектуальной и социальной ложью, которой так много содействовал. Весь человек виден здесь, в этих словах: одновременно проницательный и требовательный, но прикованный к «персонажу», которого, как ему кажется, он не может изменить. Он пленник своего типа письма — письма человека публичного. Это не так заметно в письмах, где он — прежде всего исключительный друг, каким тоже умел быть в жизни. Л. А. заканчивает это последнее письмо словами, звучащими как прощание: «Ну что ж, я останавливаюсь, поскольку у меня нет причин для остановки, и обнимаю тебя за все, чем ты для меня был и есть, за все вещи и слова, которые ты мне послал, за все, что я благодаря этому понял. Обнимаю тебя как мудрого брата».

Для Л. А. Мераб — человек, каким сам он не является, но хотел бы быть; воплощение мудрости и знания, реальных и вместе с тем воображаемых; человек физически здоровый и сильный, любящий женщин, которые платят ему тем же, свободный и жизнерадостный, каким сам он никогда не мог стать. Словом, двойной идеал или «идеальный двойник», который не был чистым плодом его воображения, поскольку жизнь (или толкование Маркса) сделала возможной их встречу, и оба они сумели создать и поддерживать дружбу.

Возможно, письма писались и потом (мы ими не располагаем), но как бы то ни было, эти столь емкие слова делают, по контрасту, еще более убогим воспоминание Л. А. о его путешествии в Москву в 1974 г. и встречах с М. М. — оно помещено в изданной посмертно автобиографической книге «Будущее длится долго»<sup>22</sup>: «Я говорил там о молодом Марксе и глубинных причинах его эволюции. На мое выступление (...) не было реакции со стороны официальных лиц, но несколько студентов остались в зале и задали мне вопросы: что такое пролетариат? что такое классовая борьба? Они явно не понимали, о чем шла речь. Я был удивлен, но потом без труда понял это».

Начало рассказа позволяет надеяться, что он поймет нерешительность публики. Но продолжение, вопреки его словам, не оставляет по этому поводу никаких сомнений. Это каша из самых избитых сталинских клише, противоречия которых граничат с абсурдом: «Я это понял, поскольку за те восемь дней, что я не посещал конгресс, мой дорогой друг Мераб, гениальный грузинский философ, никогда не стремившийся уехать из СССР, как это сделал его друг Зиновьев (“ведь так, по крайней мере, видишь вещи в подлинном виде, без прикрас”), познакомил меня с доброй сотней советских людей разного положения, и они рассказали мне о своей стране и материальных, политических и интеллектуальных условиях своего существования; я хорошо понял вещи, нашедшие подтверждение в прочитанной мною серьезной литературе об СССР.

СССР — не та страна, какую обычно описывают у нас. Конечно, всякое публичное вмешательство в политическую жизнь здесь запрещено и опасно, но в остальном — какая жизнь! Прежде всего, это огромная страна, которая решила проблему неграмотности и культуры на уровне, неизвестном даже у нас. Далее, это страна, где право на труд гарантировано и даже, если так можно сказать, спланировано и носит обязательный характер: после отмены заборных книжек наблюдается необычайная мобильность рабочих. Наконец, это страна, где рабочий класс столь силен, что заставляет себя уважать, и полиция никогда не вторгается на заводы, — тот самый рабочий класс, который находит отдушину в пьянстве и левой работе, воруя оборудование, принадлежащее коллективу, чтобы трудиться на частных лиц. Страна с двойным дном — работа налево в промышленности, образовании, медицине и (приобретшая официальный статус) в сельском хозяйстве. С тех пор я узнал то, что тогда

<sup>22</sup> Althusser, Louis. *L'avenir dure longtemps, suivi de Les faits*. Stock/IMEC, 1992. P. 181–183.



мне не было известно: бригады формируются теперь из рабочих, очень дорого продающих свои услуги предприятиям, которые хотят наверстать отставание от плана. У нас этого нельзя представить (хотя и у нас существует левая работа), потому что не “хозяева” диктуют там цены, а группы приятелей, которые организуются, чтобы продавать свои услуги предприятиям, не выполнившим план.

Разумеется, я нашел в СССР настоящую философскую пустыню. Мои книги были переведены, как все, что выходит за рубежом, но помещены в “трижды секретный фонд” библиотек только для политически благонадежных специалистов высшей категории...»<sup>23</sup>

Этот жалкий набор фраз не нуждается в комментариях. Клеман Россе подмечает в своем эссе присущее Альтюссеру «сочетание крайней ясности ума и глубочайшего помешательства (...), которое делает из Альтюссера “казус” в том смысле, в каком говорят о “казусе Вагнера” или “казусе Ницше”, освещая одним светом прожектора все наиболее разумное и одновременно самое бессмысленное в работе человеческого мозга»<sup>24</sup>. И напротив, у своего бывшего профессора истории он отмечает высшую ясность мысли: «Он безжалостно наказывал всякое самолюбование или опьянение ума». Именно такую роль играл и М. М. в Москве, потом в Тбилиси. С тем различием, что его аудиторию составляли не учащиеся подготовительных классов, надлежащим образом отобранные и читавшие классическую литературу, а советские студенты — сам он добродушно называл их «слепыми щенками», — чаще всего лишенные доступа к книгам и источникам, которые он им рекомендовал. Считая своим долгом просвещать их, он предпочел посвятить себя этому делу, а не уезжать из страны. Оба философа, каждый по-своему, были педагогами. Слишком легко было бы противопоставить Мудреца и Безумца. Их объединяла забота о других. Письма Л. А., сохранившие непосредственность переживаний, показывают, что дружба отчасти смогла придать чувству ту зоркость, которой был лишен интеллект.

*Перевод И. Я. Блауберг*

<sup>23</sup> На самом деле его книги не переводились: их можно было прочесть на французском в Библиотеке им. В.И. Ленина и только фрагменты были переведены и циркулировали в форме брошюры среди имеющих разрешение специалистов.

<sup>24</sup> Rosset, Clement. *En ce temps-la. Notes sur L. Althusser*. Les Editions de Minuit, 1922.